

Александр Гарцев

**Бронзовый
постамент**



Александр Гарцев
Бронзовый постамент

«Автор»

2026

Гарцев А.

Бронзовый постамент / А. Гарцев — «Автор», 2026

Новое произведение известного сетевого писателя Александра Гарцева - это повесть о человеке, который хотел быть голосом правды, а стал бронзовым памятником самому себе. Он начинал как никто — токарь пятого разряда, парторг цеха, «свой в доску». Говорил правду в глаза начальству, бил кулаком по столу, добивался премий для рабочих. Его выдвинули — сначала на трибуну, потом в райком, потом в обком. Из него делали лицо перестройки, народного лидера, будущего губернатора. Это история не о политике. О том, как легко потерять себя, когда все вокруг кричат: «Ты наша надежда!». Повесть охватывает десятилетие великого перелома: от перестройки до первых губернаторских выборов. Урал, завод, очереди за хлебом, танки у Белого дома, пустые цеха и люди, которые хотели верить. И один из них — Николай Горелов — заплатил за эту веру слишком дорогую цену. Слова стали чужими, написанными политтехнологами. И все исчезло, когда проект «Горелов» перестал быть эффективным

© Гарцев А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА 1. «ЧЕЛОВЕК ОТ СТАНКА»	5
ГЛАВА 2. «ШКОЛА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА»	8
ГЛАВА 3. «СМЕНА ВЕХ»	11
ГЛАВА 4. «ПЕРВАЯ ТРИБУНА»	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Александр Гарцев

Бронзовый постамент

ГЛАВА 1. «ЧЕЛОВЕК ОТ СТАНКА»

Город К., завод «Уралпневмостанк». Механосборочный цех № 3 — три пролёта под стеклянной крышей, сквозь которую мартовское солнце пробивается бледными, бессильными лучами. Пахнет окалиной, смазкой, потом и дешёвым табаком. Станки гудят на разные голоса — от басового урчания до тонкого, почти женского визга резцов, сдирающих стружку. На стене — плакат «Решения XXVII съезда КПСС — в жизнь!» и портрет Горбачёва, приклеенный к стенду техники безопасности.

Время действия: март 1986 года, начало смены. На улице ещё по-зимнему холодно, снег подтаял, но лежит серыми остовами. В цехе — привычная духота, которую не выветрит даже сквозняком.

Этот март запомнился заводчанам не погодой — обычным, мартовским, слякотным — а известиями. По телевизору говорили о перестройке, ускорении, гласности. Слова были красивые, но на станках они не отражались. Станки по-прежнему требовали заточки резцов, масла, человеческих рук. И людей, которые умели брать на себя ответственность.

Николай Петрович Горелов стоял у своего токарного станка — старенького, но выверенного, с китайским паспортом и русской душой. Руки его — вевшаяся в поры масляная смазка, так что мыло уже не брало — лежали на рычагах подачи как на органе. Он знал: нажмёшь чуть сильнее — сорвёшь резьбу. Чуть слабее — брак. Идеальный баланс находился где-то в спине, в подкорке, в том шестом чувстве, которое вырабатывается годами.

— Горел! — крикнул бригадир Серега — нет, не тот Сергей Петрович Власов, а его сменщик, молодой парень с копной рыжих волос. — Тебя начальник цеха кличет. Срочно.

Николай выключил станок, снял очки-консервы, протёр их грязной ветошью. Лицо его было крупным, скуластым, глаза — серыми, тяжёлыми, с прищуром, который одни называли «рабочей хваткой», другие — «угрюмостью». Бригадир парторг (а он был ещё и парторгом цеха, избранным на общем собрании, потому что «свой, не из начальства») — такой не ходит на поклон к начальству без повода.

— Чего ему? — спросил он, накидывая телогрейку на плечи.

— Говорит, разговор есть. Премии, что ли, урежут? — рыжий хохотнул.

— Привыкли, — буркнул Николай и пошёл к лестнице, ведущей в кабинетный коридор.

Кабинет начальника цеха Владимира Ивановича (по прозвищу Шахматист, за худобу и вечно прищуренные глаза) располагался на втором этаже, в стеклянной клетушке, откуда был виден весь цех. Владимир Иванович сидел за столом, перебирал бумаги. Завидев Николая, он откинулся на спинку стула, сложил руки на груди.

— Садись, Горелов.

— Постою. Смена не резиновая.

— Ну как знаешь. — Шахматист подвинул к нему листок. — Это список молодых рабочих. Твоей бригады. Пять человек. Премию им урезаем на тридцать процентов. Приказ сверху. Не выполняют норму.

Николай взял листок, не читая. Смотрел на начальника в упор.

— Владимир Иваныч, ты это серьёзно?

— Я серьёзно. У меня план — наверху. Если мы не выполним...

— А ты, — Николай перебил, — почему не выполним? У нас перевыполнение по цеху на восемь процентов. Я вчера сдал детали. Моя бригада — лучшая в квартале.

— Значит, так надо, — Шахматист покраснел. — Не обсуждается.

— А у меня, — Николай положил листок на стол, придавив его грязным пальцем, — другая позиция. Я, между прочим, парторг. Могу собрание собрать. И могу заявить, что это решение — антирабочее. И пусть тогда в парткоме разбираются.

Шахматист побледнел. Потом снова покраснел. Потом махнул рукой.

— Забирай список. Поговорим завтра. Но ты, Горелов, ох, накличешь беду.

— Беду, — сказал Николай, — это когда рабочий в долгах, а начальник в новых ботинках.

А у нас — пока порядок.

Он вышел, не прощаясь. Спустился в цех, разыскал своих молодых — Славку, Витьку, двух братьев Ткаченко и долговязого Сеньку. Сказал им коротко:

— Всё в силе. Премия будет. Я решу.

— Спасибо, Горел! — крикнул Сенька.

— Не надо спасибо, — отрезал Николай. — Работайте.

Вернулся к станку. Включил. Резец впился в заготовку, стружка завилась серебристой спиралью. Он любил это чувство — когда металл подчиняется. Когда всё честно: ты даёшь усилие — получаешь деталь. Никакой политики, никаких бумаг, никакой подковёрной борьбы.

В обеденный перерыв он стоял в курилке — бетонной клетушке с вытяжкой, где собирались мужики со всего цеха. Дым стоял коромыслом. Сергей Власов — друг старый, слесарь-сборщик, с красным лицом и вечно смеющимися глазами — хлопнул его по плечу.

— Слышал, опять Шахматисту вставил?

— Не вставлял, — Николай затянулся «Примой». — Правду сказал.

— Одного не пойму, — Сергей усмехнулся, выпуская дым колечками, — ты парторг. Ты за партию. А партия сейчас требует экономить. А ты требуешь премии. Как это вяжется?

— Вяжется просто, — Николай посмотрел на него холодно. — Партия — это, блядь, народ. А народ, Серега, это я, ты, Славка этот долговязый. Если народу плохо — какой от него толк производству? Перестройка, ускорение — всё это про людей. А не про бумажки.

— Ох, Коля, — Сергей покачал головой. — Угроишь ты себя. На рожон лезешь.

— Пусть лезут те, кто сверху, — ответил Николай. — А я здесь. У станка. В грязи. И если меня выгонят — я вернусь к этому же станку. И ничего не изменится.

Мужики закивали, кто-то хмыкнул. Разговор свернул на хоккей, на нового директора, на то, что бензин подорожал.

Николай докурил, затушил окурком о подошву ботинка и пошёл обратно. На полпути остановился, взглянул на Доску почёта, где висела его фотография — ещё прошлогодняя, с ударничеством и грамотой. Фото, кажется, уже не соответствовало ему: он стал старше, угрюмее.

— Коля! — окликнул его сверху Шахматист. — Зайди!

Он поднялся. Владимир Иванович держал в руках приглашение — отпечатанное на машинке.

— Вот, райком партии. Вечером заседание. Тема — «Кадры и ускорение». Хотят послушать рабочих. Я дал твою фамилию. Ты у нас, Горелов, речистый.

— А вы, — сказал Николай, — я смотрю, отбояриваетесь?

— Я начальник. Моя задача — организовать. А твоя — выступить. Не подведи.

Николай взял приглашение. Сложил пополам, сунул в карман телогрейки.

Вечером, после смены, он пришёл домой — в двухкомнатную квартиру в панельной хрущевке, пахнущую щами, стиральным порошком и детством. Светлана — жена, в ситцевом халате, кормила с ложечки Дениса, трёхлетнего. Сын сопел, отворачивался от манной каши.

— Пришёл? — Света не обернулась. — Еда на плите.

— Спасибо, — он прошёл в комнату, сел на стул, разулся. Пальцы гудели от резца, спина ныла.

— Коль, — Света подошла, встала рядом, положила руку на плечо. — Ты чего такой? Опять на работе?

— Всё нормально. Дай побыть.

Она убрала руку, вздохнула, пошла к плите. Через минуту поставила перед ним тарелку с супом.

— Кушай. Остынет.

Он ел молча, глядя в окно. За стеклом — тихий заводской поселок, фонари, голые тополя. Снег всё не таял, хотя март уже кончался.

— Свет, — сказал он вдруг. — Я сегодня на райком иду. Выступить.

— Не ходи, — ответила она. — Сиди дома. Сыном займись.

— Не могу, — он отодвинул тарелку. — Меня записали.

— Вечно тебя записывают, — она села напротив. — А я остаюсь. И сын. Ты бы хоть раз подумал, кому нужна твоя правда? Ей, — она кивнула в сторону окна, в сторону завода, — ей не нужна. Ей нужны детали, премии, план. А ты хочешь быть совестью.

— А кто, если не я? — он поднял глаза.

Она не ответила. Встала, взяла с полки фотографию — свадебную, 1982 год, они молодые, весёлые, и он ещё без зальсин.

— Посмотри, Коля. Это ты. Смеёшься.

Он посмотрел. Отвернулся.

— Ладно, — сказал он. — Пора.

Он надел чистую рубашку — единственную, с долгоносиком, которую берег для собраний, — застегнул все пуговицы, поправил воротник. Выходя, поцеловал сына в макушку. Тот пах кашкой и детством.

— До свиданья, батя, — сказал Денис.

— До завтра, сын.

Дверь закрылась. Светлана смотрела на закрытую дверь долго, потом перевела взгляд на фотографию. Достала из ящика тряпку, протёрла рамку.

За окном — март, перестройка, новая эпоха. А в этой квартире пахло щами, стиральным порошком и страхом. Страхом, что муж, который всегда боролся за правду, однажды не заметит, как эта правда кончится. И останется одна громкая, красивая, лживая пустота.

Николай вышел на улицу, закурил, поднял воротник. И пошёл к остановке. Автобус вёз его на райком, в зал с портретами, к людям в костюмах, которые говорят по бумажке. Он знал: он будет говорить без бумажки. И его услышат. Хотя бы сегодня.

Он не знал тогда, что услышат — и запомнят. И что это станет началом. Не пути наверх — пути на бронзовый постамент.

ГЛАВА 2. «ШКОЛА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА»

Город К. Здание райкома партии — сталинская сталинка на главной площади, с колоннами и лепниной, которую в 1960-х закрасили белой краской, отчего она стала похожа на запёкшийся гипс. Внутри — запах ковровина, мастики для пола и казённых духов. Актальный зал — ряды красных кресел, портреты классиков марксизма, трибуна с микрофоном, на котором уже полгода не работал динамик, так что выступающие надрывали глотки.

Время действия: март 1986 года, поздний вечер. За окнами — темень, редкие фонари, мокрый снег, который уже не тает, смерзаясь в грязную кашу.

Райком встречал Николая привычной суетой. В фойе курили первые секретари заводских парткомов, завотделами, какой-то генерал в форме — из военного училища, что стояло на окраине. Николай протиснулся к вешалке, сдал пальто, получил номерок. Огляделся. Своих — с завода — было человек пять: главный инженер, парторг завода, секретарь комитета комсомола. Все в серых костюмах, все с одинаковыми «дипломатами». Он чувствовал себя чужим в своей чистой рубашке — слишком просто, не по-чиновному.

— Горелов! — окликнул его знакомый голос. — Давай сюда.

Это был Илья Зиновьевич Фельдман — старый партийный интеллектуал, преподаватель школы марксизма-ленинизма при обкоме. Маленький, сутулый, с жидкой бородкой и умными, усталыми глазами. Он носил очки в толстой роговой оправе и всегда пахло от него старыми книгами и валокордином.

— Илья Зиновьевич, — Николай подошёл, пожал узкую сухую руку. — Вы тоже здесь?

— А как же, — Фельдман усмехнулся. — Тема — «Кадры и ускорение». Кто же, как не я, будет втолковывать нашим партийным функционерам, что кадры — это не только номенклатура? Идём в зал, садись поближе.

Зал наполнялся медленно. Кресла скрипели, люди перешёптывались, кто-то чихнул, кто-то закашлял. На сцену вышли члены президиума: первый секретарь райкома — грузный, с одышкой; заведующий отделом пропаганды — молодой, с жидкими усиками; и женщина — худощавая, в строгом костюме, с короткой стрижкой. Николай не знал её.

— Уважаемые товарищи! — первый секретарь начал без микрофона, голосом, привыкшим к командам. — Слово для доклада предоставляется заведующему отделом пропаганды тов. Шаховой.

Женщина подошла к трибуне. Она оказалась старше, чем казалось издали — лет тридцать пять, с мелкими морщинками у глаз, с взглядом спокойным и цепким.

— Марина Юрьевна Шахова, — шепнул Фельдман Николаю. — Из Ленинграда, свежий ветер. Умница. Слушай внимательно.

Она говорила о кадрах, о необходимости выдвигать на руководящую работу молодых рабочих, о том, что бюрократический аппарат тормозит перестройку. Говорила без бумажки, но чувствовалось: каждое слово отточено, выверено, хотя казалось живым. Николай слушал и не верил: откуда эта женщина, вчерашний ленинградский философ, знает про заводскую жизнь? Но факты, которые она приводила — о текучке, о падении дисциплины, о том, что молодые рабочие не идут в ПТУ, потому что престиж труда упал — были точными, как его собственные наблюдения.

Потом начались выступления. Главный инженер завода нёс какую-то казёнщину, которую все слушали вполуха. Парторг завода жаловался на жильё для молодых специалистов. Комсомольский секретарь пищал о досуге.

— А теперь, — сказал первый секретарь, — дадим слово рабочим. Товарищ Горелов, бригадир и парторг цеха №3 завода «Уралпневмостанк». Прошу.

Николай поднялся. Сердце стучало где-то в горле, но он шёл к трибуне спокойно, шагом человека, который привык к станку, а не к кафедре. В зале зашептались.

Он подошёл к микрофону, постучал — не работал. Усмехнулся, отодвинул его в сторону, сказал громко:

— Не слышно — значит, скажу так. Нас в цехе 38 человек слышат без микрофона.

Заржали. Даже первый секретарь усмехнулся.

— Товарищи, — начал Николай, и голос его, низкий, с хрипотцой, заполнил зал. — Я слушал сегодня про кадры, про ускорение, про перестройку. Красиво говорят. А давайте по-нашему, по-рабочему: почему у нас молодой рабочий Сенька, который выполняет норму на 120 процентов, получает меньше, чем старый кадровик из отдела, который три часа пьёт чай и перекладывает бумажки?

В зале зашумели. Кто-то зааплодировал — тихо, но одобрительно.

— Я не против учёта, — продолжал Николай. — Я за справедливость. Перестройка, товарищи, если она не про справедливость — она никому не нужна. Вот мы в цехе недавно пересмотрели наряды, и оказалось, что бригада Ткаченко перерабатывает без доплат. Почему? Потому что начальник цеха смотрит на план, а не на людей. Я ему сказал — он обиделся. А я не для обиды, я для дела. Если мы, партийные работники, будем закрывать глаза на несправедливость — кто поверит в нашу партию? Кто пойдёт за нами?

Он говорил ещё минут десять. О премиях, о жилье, о том, что в заводской поликлинике нет лекарств, о том, что детский сад закрыли на ремонт и не открывают полгода. Факты — жёсткие, цифры — точные. Он не готовился, но всё это сидело в нём годами, и теперь вывалилось наружу.

— Спасибо за внимание, — закончил он, вытер рукавом пот со лба и вернулся на место.

Фельдман смотрел на него с недоумением и восхищением.

— Ты, Коля, — сказал он тихо, — или гений, или самоубийца. Ты что, не знаешь, что секретарь райкома — кум начальника твоего цеха?

— Знаю, — ответил Николай. — Мне не в кумовья метить. Мне правда нужна.

После заседания к нему подошли. Сначала — несколько рабочих с других заводов, жали руку, благодарили. Потом — завкомовские активисты. Потом — неожиданно — Марина Юрьевна.

— Товарищ Горелов, — сказала она, пристально глядя ему в глаза. — У вас есть время? Я хотела бы поговорить с вами подробнее.

— Есть время, — ответил он, хотя дома ждала Светлана, а завтра — смена. — Говорите.

Они вышли в коридор, сели на подоконник. Марина закурила — длинные тонкие сигареты, импортные. Предложила ему — он отказался, достал свою «Приму».

— Вы знаете, — начала она, выпуская дым, — я в этом городе почти год. И первый раз слышу живую речь с трибуны. Без бумажки. Без страха.

— Чего мне бояться? — усмехнулся Николай. — Меня уволить нельзя — я лучший токарь. А снять с парторга — так я сам попрошусь, если что.

— Вот это, — она кивнула, — это и есть кадры, о которых я говорила. Люди, которые не боятся. Которым нечего терять, кроме правды. Таких — единицы. И их надо двигать.

— Куда двигать? — он насторожился.

— Наверх, — просто ответила она. — В райком, в обком, в министерство. Чтобы они там, наверху, помнили, откуда пришли. Перестройка, товарищ Горелов, — это шанс. Не упустите его.

Она оставила ему визитку — простой прямоугольник с именем и телефоном.

— Позвоните. Я хочу вас познакомить с Ильёй Зиновьевичем. У него есть идея насчёт школы марксизма-ленинизма для рабочих лидеров. Думаю, вам там самое место.

— Я уже учусь, — ответил он. — На втором курсе политеха. Вечерний.

— Это другое, — она улыбнулась. — Это — политика.

Она ушла, цокая каблуками по казённому линолеуму. Николай остался сидеть на подоконнике, смотреть, как за окном падает снег. Потом достал фотографию из кармана — ту самую, свадебную, которую Светлана вытащила из рамки и сунула ему перед уходом. Посмотрел на себя молодого, смеющегося. Убрал обратно.

Домой вернулся за полночь. Светлана не спала — сидела на кухне, пила чай, перебирала крупу.

— Ну как? — спросила она, не глядя.

— Нормально, — ответил он, раздеваясь.

— Тебя снова куда-то зовут? Я же вижу.

Он молчал. Прошёл в комнату, лёг, не раздеваясь.

— Коля, — она зашла следом, села на край кровати. — Я боюсь.

— Чего?

— Что ты уйдёшь. Не от нас — от себя. Ты уже не тот, что на фотографии.

— Это жизнь, Света, — сказал он, не открывая глаз. — Жизнь меняет.

— Не должна, — ответила она. — Не так.

Она встала, выключила свет, ушла на кухню. Сидела там до утра. Слышала, как он храпит, и думала о том, что сегодня, на райкоме, какой-то человек — она не знала кто — посадил семя в его душу. И это семя прорастёт. А что из него вырастет — она боялась даже думать.

На следующий день Николай пришёл в цех, встал к станку. Резец вгрызся в металл. Стружка вилась, падала к ногам. Сергей Власов подошёл, хлопнул по плечу.

— Слышал, ты на райкоме выступал. Говорят, всех сделал.

— Никого я не делал, — ответил Николай, не оборачиваясь. — Я правду сказал.

— Правду, — Сергей вздохнул. — Правда, Коля, она как свежий воздух. Надышишься — и не можешь без неё. А потом привыкаешь. И она становится такой же обычной, как совковый воздух.

Николай выключил станок, повернулся к другу.

— Ты чего, Серега, философом заделался? Давай к делу.

— К делу, — Сергей усмехнулся. — Шахматист тебя опять вызывает. Зайди.

Николай вытер руки, пошёл наверх. В кабинете Шахматиста его ждали не одни — с начальником цеха сидел первый секретарь райкома.

— Товарищ Горелов, — сказал секретарь, не вставая. — У нас к вам предложение. В обкоме партии открываются курсы — школа марксизма-ленинизма для выдвиженцев. Мы хотим рекомендовать вас. Полугодовые курсы, с отрывом от производства. С сохранением заработной платы.

Николай посмотрел на Шахматиста. Тот отвёл глаза.

— А цех как же? — спросил Николай.

— Цех подождёт, — ответил секретарь. — Кадры решают всё.

Николай молчал. В голове стучало: «Света, сын, станок, правда — или карьера, лозунги, Марина». Он не знал, где правда. Может, она везде? Может, нигде?

— Подумать можно? — спросил он.

— Думайте, — сказал секретарь. — Но времени — до пятницы.

Николай вышел, спустился в цех. Струйка всё вилась на полу. Он нагнулся, поднял её, покрутил в пальцах. Металл — холодный, острый, настоящий.

— Коля! — крикнул Сергей. — Что решил?

— Не решил, — ответил Николай. — Но, кажется, меня уже решили.

Он подошёл к станку, включил его. И работал до конца смены молча, не поднимая головы. Думал.

Но о чём — не скажешь. Или скажешь, да не тем.

ГЛАВА 3. «СМЕНА ВЕХ»

Город К. Декабрь 1987 года. Квартира Гореловых — панельная хрущевка на окраине заводского района, улица Юности, дом 8. Две комнаты: маленькая зала, где стоит полированный «стенка» (куплен по знакомству, два года выплачивали), спальня с кроватью и детской кроваткой, кухня — шесть метров, с газовой плитой, раковиной, закатанными банками под столом. За окнами — уральская зима, мороз под тридцать, снег скрипит под ногами, как битое стекло. На подоконнике — герань, на стекле — морозные узоры, похожие на райские растения. В подъезде пахнет щами, кошками и дешёвым табаком. Время — поздний вечер, около одиннадцати, когда телевизор уже показал «Время», а соседи угомонились за стенкой.

Декабрь восемьдесят седьмого запомнился городу К. не только морозами, но и суетой — предновогодней, тревожной. В магазинах, по слухам, появилась колбаса. Но только для ветеранов. Простой рабочий стоял в очереди с шести утра, получал по талонам две пачки масла и килограмм крупы. Говорили, что в Москве Горбачёв и Рейган подписали какой-то договор, что границы открываются, что скоро будет всё. Но в очереди за колбасой никто в это не верил.

Николай сидел на кухне, пил чай из гранёного стакана, смотрел в окно. Снег валил крупными хлопьями, фонарь во дворе мигал — то ли мороз, то ли лампочка старая. На столе лежала книжка — учебник по научному коммунизму, с закладкой на середине. Он должен был готовиться к семинару в школе марксизма-ленинизма, но мысли были далеко.

Школа... он закончил её полгода назад, с отличием. Фельдман сказал тогда: «Коля, ты готов. Теперь ты — не просто рабочий. Ты — новая генерация. Думай, куда идти». И Марина — эта женщина с цепкими глазами — тоже подошла, пожала руку: «Поздравляю. Теперь мы будем сотрудничать». Он не понял тогда, что значит «сотрудничать». Теперь начинал понимать.

— Коль, — Светлана вошла на кухню, поставила перед ним тарелку с пельменями — домашними, лепленными вчера вечером. — Ешь, остынет.

— Спасибо, — он не поднял глаз.

— Опять задумался? — она села напротив, сложила руки на груди. — Коль, ты когда последний раз с Денисом разговаривал? По-человечески? Не «дай то, сделай это», а так — поиграл бы?

— Свет, я устал. Завтра в обком. Документы готовить.

— Какие документы? — она не отступала. — Ты же рабочий. Твоё дело — станок. А ты — всё в бумажках.

— Время такое, — он отодвинул тарелку, закурил — в кухне, под вытяжку. — Перестройка, Света. Нужны новые люди. Молодые, инициативные.

— А старые — не нужны? — она повысила голос. — Дети — не нужны? Я — не нужна?

— Не кричи, — он выпустил дым в потолок. — Денис спит.

Она замолчала, но глаза её горели. Она встала, выключила плиту, убрала кастрюлю. Потом повернулась к нему:

— Коля, я тебя боюсь. Не того, что ты бросишь. А того, что ты станешь... чужим. Ты уже не разговариваешь со мной по душам. Только по делу. Как с секретаршей.

— Ты — жена, — ответил он, туша сигарету. — Жена должна понимать.

— Понимать? — она усмехнулась горько. — Я понимаю одно: ты идёшь вверх. А там, наверху, воздух разреженный. Там сердца не держат. Там бронзовый постамент.

— Что ты мелешь? — он встал, надел пиджак — тот самый, в котором ходил на заседания. — Какой постамент?

— Такой, — она подошла к «стенке», достала с полки статуэтку — «Рабочий и колхозница», дешёвая, из алюминия, купленная на ярмарке. — Вот. Бронза. Красивая. И мёртвая.

Он посмотрел на статуэтку, потом на жену. Не нашёл слов. Вышел в прихожую, надел пальто.

— Ты куда? — спросила она.

— Подышать. Душно.

Дверь закрылась. Светлана осталась одна. Она взяла статуэтку, повертела в руках, поставила на место. Потом подошла к окну, смотрела, как он идёт по двору, подняв воротник, закуривает на ходу. Фонарь мигнул в последний раз и погас. Стало темно.

Николай шёл по пустому двору, снег скрипел под ногами. Он думал о Светлане — о том, как они познакомились на танцах в 1980-м, как она улыбалась, когда он пел под гитару. Он тогда работал уже четвёртый год, был молодой, бесшабашный. А она — медсестра, в белом халате, с коробкой ампул. Сказала: «Осторожно, стекло». Он ответил: «Я сам — стекло. Трещина — и рассыпаюсь».

— Не рассыпайся, — попросила она.

Он тогда не рассыпался. А теперь? Теперь он сам не знал.

Он зашёл в телефонную будку на углу — стеклянную, разрисованную неприличными словами, с ободренным диском. Достал из кармана визитку. Марина. Набрал номер, долго слушал гудки.

— Аллю? — голос сонный, но собранный.

— Марина Юрьевна? Это Горелов. Николай.

— Слушаю.

— Я подумал... насчёт обкома. Я согласен.

— Отлично, — она будто ждала. — Приезжайте завтра к десяти. Я всё организую.

— Спасибо.

— Не благодарите. Вы нужны делу.

Он повесил трубку. Вышел из будки, посмотрел на небо — чистые, колючие звёзды. Где-то там, за облаками, была Москва, Кремль, Горбачёв. А здесь, внизу, завод, очередь за колбасой, жена, которая боится бронзы, и он — Николай Горелов, токарь пятого разряда, парторг цеха, кандидат в новую жизнь.

— Не рассыпайся, — сказал он сам себе. И усмехнулся.

Вернулся домой. Светлана не спала — сидела на кухне, пила чай, смотрела на замерзшее окно.

— Я согласился, — сказал он, раздеваясь. — В обком. Предложили должность.

— Какую? — спросила она, не оборачиваясь.

— Инструктор отдела пропаганды.

— Ты же инженером собирался. Политех заканчиваешь.

— Инженером успею, — ответил он. — Сейчас другое важно.

Она повернулась. Глаза её были сухими, но блестели.

— А когда будет важно то, что я сейчас скажу? — спросила она. — Завтра? Никогда?

Он подошёл, хотел обнять. Она отстранилась.

— Не надо, Коля. Если не чувствуешь — не играй.

Она ушла в спальню, закрыла дверь. Он остался на кухне, допил её чай — холодный, горький. Посмотрел на книгу по научному коммунизму. Открыл. Прочитал вслух:

— «Перестройка — это решительное преодоление застойных процессов, слом тормозных механизмов...» — он закрыл книгу. — Слом, значит.

За окном снова пошёл снег. Фонарь мигнул — и загорелся. Будто кто-то наверху хотел сказать: «Жив ещё. Не всё потеряно».

Николай лёг на диван — в зале, не пошёл в спальню. Лежал, смотрел на потолок, на трещину от лампы к углу. Слушал, как за стенкой Светлана тихо плачет. Хотел встать, пойти, обнять. Не встал.

Утром он ушёл рано, пока сын не проснулся. Поцеловал Дениса в лоб — спящего, тёплого, пахнущего молоком. Написал записку Светлане: «Прости. Вечером поговорим». Записку положил на стол, придавил тарелкой.

Вышел на улицу. Мороз ударил в лицо, отрезвил. Он пошёл к остановке, сел в троллейбус, поехал в обком. Город просыпался: хлебные очереди, женщины с авоськами, мужчины с портфелями, дети в школу. Обычная жизнь.

А в нём уже зрело что-то другое. Не жизнь — роль.

ГЛАВА 4. «ПЕРВАЯ ТРИБУНА»

Город К. Здание обкома партии — монументальная сталинская высотка на центральной площади, с барельефами рабочих и крестьян на фасаде, с колоннами, которые помнят ещё послевоенные приёмы первых секретарей. Внутри — длинные коридоры с высокими потолками, пахнет лаком для пола, старыми коврами и казённым чаем из титана. Кабинет отдела пропаганды — комната на третьем этаже, окна выходят на площадь, где сейчас строят трибуну для первомайской демонстрации. Май 1988 года. Утро. Солнце уже яркое, по-весеннему тёплое, но в кабинете прохладно — батареи отключили с апреля, а новые ещё не включили. На улице — первый зелёный шум тополей, тополиный пух летает белыми хлопьями, как маленькие облака.

Весна восемьдесят восьмого выдалась ранняя и какая-то нервная. Тополиный пух налепал на окна обкома, заклеивал стёкла, и казалось, что город болеет аллергией на перемены. Перемены действительно были: по телевизору показывали сессии Верховного Совета, где депутаты спорили до хрипоты, в газетах печатали такие статьи, что старые партийцы хватались за сердце. На заводе мужики теперь не только про премии говорили, но и про «суверенитет», «альтернативные выборы», «многопартийность» — слова, которые ещё полгода назад сочли бы крамолой.

Николай сидел в своём новом кабинете — отдельном, на двоих с Мариной Юрьевной, но она приезжала редко, чаще была в разъездах. Комната была маленькая, метров двенадцать, с двумя столами, ободранным шкафом для документов и портретом Дзержинского на стене — наследие предыдущего инструктора, который ушёл на пенсию «по состоянию здоровья». Николай портрет не снимал — боялся, что не поймут. Привыкал.

Должность инструктора отдела пропаганды оказалась странной. С одной стороны — партийная работа, престиж, зарплата выше заводской. С другой — никакой реальной власти. Только бумаги: готовить доклады для секретарей, писать справки, анализировать письма трудящихся. Он, который привык крутить гайки и ругаться с начальником в глаза, теперь сидел и перепечатывал чужие мысли на машинке. Пальцы путались в клавишах, черновики летели в корзину, а Марина терпеливо поправляла: «Не так, Коля. Не „рабочие требуют“, а „трудящиеся высказывают пожелания“. Не „начальник дурак“, а „отмечаются отдельные недостатки в руководстве“».

Он учился говорить по-партийному. Это было трудно. Как учить китайский — вроде слова те же, а смысл ускользает.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал он, отрываясь от бумаг.

Вошел Илья Зиновьевич Фельдман — с портфелем, в старом пиджаке, от которого пахло нафталином. Он тоже перебрался в обком после реорганизации — числился консультантом, но по факту был тем, кого называют «серым кардиналом». Умён, опытен, циничен. В партии с 1956-го, помнил оттепель, застой, начало перестройки. Ничему не удивлялся.

— Николай Петрович, — Фельдман улыбнулся, присаживаясь на стул. — Готовитесь к областной партийной конференции?

— Готовлюсь, — Николай отодвинул бумаги. — Тезисы к докладу. Марина сказала — выступать мне.

— Она правильно сказала. Вы — лицо. Рабочий, бригадир, парторг. Свежий ветер. А я, старый пердун, уже не в счёт. — Фельдман достал папиросу, но курить не стал — покрутил в пальцах. — Вы знаете, Коля, почему вас выдвинули?

— Потому что умею говорить? — предположил Николай.

— Потому что вы — удобный. Вам верят рабочие. Вам верят наверху. Вы тот самый мост между станком и трибуной. Но мост, Коля, — это не дом. На мосту нельзя жить. Рано или поздно придётся выбирать: или ты с теми, кто в цехе, или с теми, кто наверху.

— А можно быть и там, и там? — спросил Николай.

— Нельзя, — Фельдман вздохнул. — Проверено. Я пытался. Получилось ни то, ни сё. Выбрали — так выберите. И не оглядывайтесь.

Николай промолчал. Он смотрел в окно, где рабочие собирали трибуну — сколачивали щиты, красили их в красный. Первомай. Демонстрация. Тысячи людей с флагами. И он, возможно, будет стоять на этой трибуне, махать рукой, улыбаться.

— Илья Зиновьевич, — спросил он, не оборачиваясь. — А вы верите в перестройку? По-настоящему?

Фельдман долго молчал. Потом ответил:

— Верю, что она нужна. Не верю, что получится. Но мы, Коля, — партийные солдаты. Наше дело — выполнять приказы. Или уходить. Вы уйдёте?

— Нет, — ответил Николай.

— Тогда готовьте доклад. Марина приедет — проверит.

Фельдман ушёл, оставив после себя запах нафталина и табака. Николай остался один. Посмотрел на портрет Горбачева. Портрет смотрел на него с улыбкой. Он отвернулся, взял машинку, вставил новый лист.

Доклад назывался «Роль рабочего класса в условиях перестройки и ускорения». Марина пришла через два часа, села напротив, взяла черновик, прочитала. Карандашом правила: «Здесь резко. Здесь политически неграмотно. Здесь — хорошо, но добавьте цитату XXVII съезда».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.